

ДВОРНИКА звали Григорием. Было ему лет за пятьдесят. Худой, жилистый, огромного роста, медлительный в движениях, благообразный, как иконописец, он был олицетворением доброго русского крестьянина, подавшегося в столицу на заработки да и прилепившегося к домику на Пресне, где находилась студия скульптора Коненкова.

Григорий был неотъемлемой частью храма, где тяжкий труд, сочетаясь с мыслями, воображением и мастерством, творил волшебство. Оно начиналось с порога и жило здесь, ежеминутно напоминая о себе. Григорий ощущал его в душистом ворохе солнечных стружек, когда убирал их из-под ствола или корня, в котором день за днем оживали образы, а с ними красота, мудрость, надменность, простодушие или печаль.

Волшебство откалывало снежно-белые пласти от мраморных глыб, запорашивало пылью стоявший в студии концертный рояль. Григорий осторожно и любовно протирает его и улыбался, узрев в полированной поверхности отражение мраморного изваяния, только что получившего право на жизнь. Он был влюблен во все это, в каждое новорожденное из глины, дерева или камня, в небо, всегда глядевшее через стеклянный потолок студии, в самого Сергея Тимофеевича, в его руки гения, с длинными ладонями и сильными пальцами, под которыми разминалась глина и послушно воплощалась в живые формы. Он обожал меня — тринадцатилетнюю крестницу Коненкова, постоянно торчавшую здесь, на Пресне, и бывало зимой он в полушубке и фартуке отвозил меня на извозчике домой и заботливо придерживал за плечо огромной рукавицей, чтоб я не вывалилась где-нибудь на повороте из неудобных извозчичьих саней, на которых сидишь, словно на пенке.

Григорий Александрович Карасев так и остался жить в чудесной деревянной скульптуре «Дядя Григорий». Он остался стоять странником на дороге, опершись на посох, как, бывало, во дворе опирался на свое «метло».

Но в моей памяти дядя Григорий живет в лучшие времена мои перехода от детства к юности, живет рядом с могучим образом Сергея Тимофеевича. Да простит мне мой девяностопятилетний крестный отец желание потревожить уснувшее прошлое и восстановить этот образ, каким я помню его в предгрозовые дни кануна и решающие дни свершения Октябрьской революции.

Он был самобытной личностью. Именно личностью мне хочется назвать человека, первым разбудившего своим искусством мысль и жажду познания в изнуренных людях, в участниках стачек, в рабочих Пресни, приходивших к нему в студию приобщаться к святой святых искусства. С 1916 года открывал Коненков у себя выставки в течение нескольких лет подряд. Я хорошо помню эту стихийную обстановку, создававшуюся вокруг него. Ему тогда было 43 года, и в нем, ладно скроенном, но худощавом, трудно было представить себе человека могучей физической силы. Красивейшим было лицо его, обрамленное короткой темной бородкой, с характерными выпуклыми надбровьями, удлиненным, как это часто бывает у смоленских мужиков, носом, с открытой улыбкой и блеском небольших карих глаз, зорких и озорных.

Иногда дома он ходил в красной косоворотке и черных штанах, заправленных в высокие сапоги, и тогда весь облик его был близок то ли Болотникову, то ли Разину. Иной раз в руках у него появлялась шестигранная концертная, на которой он искусно играл, и вдвоем с Григорием они садились. Вообще вдвоем с Григорием вершилось многое: коротались зимние вечера, обдумывались планы, заготавливались новые материалы для скульптур, и Григорий настолько вжился в окружающее, что мог заменить Коненкова, весьма толково беседуя с посетителями в дни выставок.

Дом на Пресне был окружен садиком, в котором цвели кусты простой сероватой сирени и жасмина. У высокого забора стоял врытый в землю стол на одной тумбе и две скамьи. Там постоянно сидели за шаликом соседи-столяры, мастеровившие Коненкову вертящиеся подставки, и кузнецы, что ковали ему инструменты, шпунты, троянки для рубки мрамора и полукруглые стамески для резьбы по

дереву. За этим же столом договаривались со скульптором мраморщики с Ваганькова, друзья Коненкова. Они постоянно бывали в студии, интересовались его работами, делали свои нехитрые, но меткие замечания, к которым Сергей Тимофеевич всегда прислушивался. За этим столом весной частенько и я готовила уроки, прибежав на Пресню прямо с Арбата из гимназии Хвостовой.

А за забором на пустыре было чудо — ржаное поле с маками и васильками, коненковский дом отделял его от грохочущей трамвайной булыжной мостовой Пресни. А через трамвайную линию, на углу, был Зоологический сад, ко второму году революции совсем опустевший, а если на пруду и плавало что-нибудь, то только дикие утки да гуси, дразнившие аппетиты пресненцев, ибо годы начались голодные и холодные. Котельни жилых домов бастовали без угля и дров. Провиант был по карточкам, а на рынках шла спекуляция мешочников, привозивших из дальних мест сало, муку, масло и менявших два фунта масла на пшеницу или мешочек муки на буфет красного дерева. В общих кухнях, на керосинках варился суп из селедок или вымоченной воблы, пшенная размазня или приторная мороже-

дерево необычайно хорошо. Глянцевое-коричневая, как печеное яблоко, сказочная бабка смотрит на вас мудро и добро.

Домики на Пресне притягивали всех к себе совсем особой жизнью, полной поэзии и труда. По стенам стояли творения Сергея Тимофеевича. Прикрыв глаза веками, дремала выточенная в дереве «Красавица в кокошнике», украшенном цветными камешками. Жадными глазами уставился на нее славянский язычник «Стрибог» с двумя турьими рогами за ушами. Лукаво усмехался в бороду длинноносый старичок «Егорыч-пасечник». Двое «Калик-перехожих» уже «переходили» из гипса в дерево. Блестел бронзой скрипач Ромашков, с худым и нервным лицом, до мистички оживавшим, если долго глядеть в него. На всю мастерскую ликовала улыбка русской богини победы, скуластой «Нике». Уже был закончен первый великолепный портрет в дереве Маргариты Ивановны, еще не ставшей тогда супругой Сергея Тимофеевича. Ее глаза загадочно глядели из-под опущенных век, и лицо ее, юное, исполненное женского достоинства и в то же время покорности, было пленительным. Этот портрет был, видимо, создан уже тогда зародившимся чувством, вскоре соединившим на всю жизнь автора с его моделью. Жил в студии и мраморный гений — Паганини. Скрипка под сильным, раздвоенным подбородком композитора ошарашивала: она была без грифа, словно обломленная, а в другой руке был обломок смычка. И никто никогда не спрашивал: почему так? Смычок, соскользнувший со струн, сказал все: мелодия прозвучала, композитор завершил музыкальную мысль, и главное, — это его горбоносое, скорбное лицо.

И еще один композитор жил в студии — это был Бах. Лицо великого музыканта, обрамленное мраморными буклями парика, заставляло вас улыбаться и забывать все неприятности. С этим благодушным олимпийцем органной музыки и связано одно из моих лучших воспоминаний.

Это было в 1917 году. Открывалась третья по счету выставка в студии Коненкова. Накануне мы сами с дядей Григорием и его женой Авдотьей Сергеевной, со столбами и резчиками убрали студию: расставляли около пятидесяти скульптур, украшали стены еловыми ветками, писали пригласительные билеты, раскрашивая их каждый, как хотел. И во всех этих приготовлениях самое живое участие принимала Маргарита Ивановна, проявляя большую изобретательность в инициативах. У входа в студию поставили потешную статую «Свишущкин», деревянный мужичок служил как бы зазывалой. А я, по идее Сергея Тимофеевича, должна была играть посетителям фуги и прелюдии Баха на большом рояле, рядом с которым на высоком постаменте стоял бюст Баха.

С десяти часов утра пошел народ. Пришли рабочие с Красной Пресни и друзья-крестьяне с Филей, потом пошли художники, писатели, артисты. Приходили какие-то допотопные профессора, под ручку со своими старушками, и день-деньской в мастерской толпились народ. Сам Коненков принимал посетителей, объяснял им и рассказывал, а я время от времени садилась за рояль и играла Баха. И надо было видеть воодушевленное лицо Сергея Тимофеевича, когда, указывая на скульптуру Баха, он говорил:

— Вот, смотрите, это великий композитор Бах. Лучшую в мире музыку писал он для органа. А это — наша Наташа играет сейчас его произведения. Посмотрите, как он сам доволен, что его музыку исполняют вот уже двести лет. Послушайте, какую прекрасную музыку он писал!

И все с интересом смотрели на благодушную улыбку гения в мраморе, и казалось, незатейливая игра моя придавала этому празднику атмосферу строгости и чистоты...

Позднее мне довелось слышать в студии Сергея Тимофеевича и голос Шалапина, и стихи Есенина, которые он приходил читать сюда, танцевала там и Айседора Дункан, и множество больших талантов считали своим долгом побывать в мастерской у Коненкова. Но Баха на Пресне я все же не забуду никогда! Для этого одного стоило десять лет учиться игре на фортепьяно.

Наталья КОНЧАЛОВСКАЯ

БАХ НА ПРЕСНЕ



С. Коненков. Иоганн Себастьян Бах, 1910 г. Мрамор.

ная картошка. В столице не было электричества, не ходили трамваи, не во что было одеваться и обуваться, и сами шили себе пальто из плюшевых портьер и мастерили обувь на войлочной и веревочной подошве.

Но культурная жизнь Москвы не замирала. При скудном освещении керосиновыми лампами публика, сидевшая в шубах и валенках, согревала залы Консерватории своим дыханием, а пианист держал руками в карманах бутылочки с горячей водой, и как вдохновенно играл он сонаты Бетховена или мазурки Шопена, хоть иной раз денег, вырученных за концерт, хватало лишь на кусок рыночного мыла, чтобы постирать рубашку для следующего выступления, да на петуха, залетевшего в Москву с Украины. Шел пар изо рта знаменитого певца, стоявшего на эстраде в шубе и валенках, и зал грохотал овациями. И никакие препятствия не могли помешать жажде приобщения к искусству. В театрах шли новые спектакли, в клубах и лекториях читались лекции по вопросам политики, эстетики и науки, выступали поэты, устраивались диспуты. Не от сытого «нечего делать» заполнили москвичи залы, а от голодных и холодных трудовых будней искали бодрости и свежих сил в духовных радостях.

Дом на Пресне обогрелась котельной, когда же не стало угля, Григорий топил русскую печь в комнатке при студии. За печкой была кровать Сергея Тимофеевича, и он спал там за пологом, подобно исконному русскому мужику. А когда в мастерской стало холодно, Григорий сложил там печь, протянув через всю мастерскую уютно потрескивавшие во время топки трубы. Тут он варил и хлебнул чаю, и если допоздна, то аппетитно пахло на всю студию лавровым листом и луком, а иной раз и селедочную уху приправлял перцем и сушеной морковью.

В те времена старая сказательница Кривополенова позировала Сергею Тимофеевичу. Пока он лепил, она рассказывала сказки и тут же вазала мне затейливым узором рукавички из пестрых шерстей. Сказки были удивительные, но рукавичек носить не пришлось, старуха спускала петли и рукавички расплывались, как только я их надевала. Но портрет Кривополеновой в